

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

ТОМАС
МАНН



Волшебная гора



МОСКВА

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44
М23

Paul Thomas Mann
DER ZAUBERBERG

Перевод с немецкого *Веры Станевич*
и *Валентины Куреллы*

Оформление серии *Натальи Ярусовой*

Манн, Томас.

М23 Волшебная гора / Томас Манн ; [перевод с немецкого В. Станевич, В. Куреллы]. — Москва : Эксмо, 2026. — 960 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-236238-5

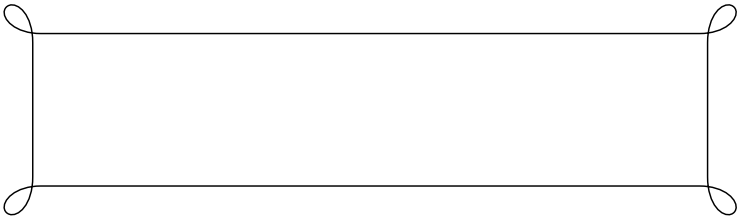
Томас Манн — один из величайших немецких писателей XX века, мастер интеллектуального романа и глубокий исследователь человеческой души. Его творчество соединяет философскую глубину, иронию и тонкое понимание духовных кризисов эпохи. Лауреат Нобелевской премии, Манн стал голосом европейской культуры на пороге катастроф XX века.

«Волшебная гора» — роман о времени, болезни и поиске смысла. Главный герой, Ганс Касторп, приезжает в альпийский санаторий и оказывается в замкнутом мире, где время течет иначе, а разговоры о жизни, смерти, науке и вере превращаются в философский спор о судьбах человечества. Это не просто история одного человека — это символ духовной остановки Европы накануне Первой мировой войны. Манн создает произведение, в котором будни превращаются в метафизическое путешествие, а путь к выздоровлению — в путь к осознанию.

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

- © Станевич В.О., перевод на русский язык, наследники, 2026
- © Курелла В.Н., перевод на русский язык, наследники, 2026
- © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

ISBN 978-5-04-236238-5



ВСТУПЛЕНИЕ

История Ганса Касторпа, которую мы хотим здесь рассказать, — отнюдь не ради него (поскольку читатель в его лице познакомится лишь с самым обыкновенным, хотя и приятным молодым человеком), — излагается ради самой этой истории, ибо она кажется нам в высокой степени достойной описания (причем, к чести Ганса Касторпа, следует отметить, что это именно *его* история, а ведь не с любым и каждым человеком может случиться история). Так вот: эта история произошла много времени назад, она, так сказать, уже покрылась благородной ржавчиной старины, и повествование о ней должно, разумеется, вестись в формах давно прошедшего.

Для истории это не такой уж большой недостаток, скорее даже преимущество, ибо любая история должна быть прошлым, и чем более она — прошлое, тем лучше и для ее особенностей как истории, и для рассказчика, который бормочет свои заклинания над прошедшими временами; однако приходится признать, что она, так же как в нашу эпоху и сами люди, особенно же рассказчики историй, гораздо старше своих лет, ее возраст измеряется не протекшими днями, и бремя ее годов — не числом обращений Земли вокруг Солнца; словом, она обязана степенью своей давности не самому *времени*; отметим, что в этих словах мы даем мимоходом намек и указание на сомнительность и своеобразную двойственность той загадочной стихии, которая зовется временем.

Однако, не желая искусственно затемнять вопрос, по существу совершенно ясный, скажем следующее: особая

давность нашей истории зависит еще и от того, что она происходит на некоем рубеже и *перед* поворотом, глубоко расщепившим нашу жизнь и сознание... Она происходит, или, чтобы избежать всяких форм настоящего, скажем, происходила, произошла некогда, когда-то, в стародавние времена, в дни перед великой войной, с началом которой началось столь многое, что потом оно уже и не переставало начинаться. Итак, она происходит перед тем поворотом, правда, незадолго до него; но разве характер давности какой-нибудь истории не становится тем глубже, совершеннее и сказочнее, чем ближе она к этому «перед тем»? Кроме того, наша история, быть может, и по своей внутренней природе не лишена некоторой связи со сказкой.

Мы будем описывать ее во всех подробностях, точно и обстоятельно, — ибо когда же время при изложении какой-нибудь истории летело или тянулось по подсказке пространства и времени, которые нужны для ее развертывания? Не опасаясь упрека в педантизме, мы скорее склонны утверждать, что лишь основательность может быть занимательной.

Следовательно, одним махом рассказчик с историей Ганса не справится. Семи дней недели на нее не хватит, не хватит и семи месяцев. Самое лучшее — и не стараться уяснить себе заранее, сколько именно пройдет земного времени, пока она будет держать его в своих тенетах. Семи лет, даст Бог, все же не понадобится.

Итак, мы начинаем.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРИЕЗД

В самый разгар лета один ничем не примечательный молодой человек отправился из Гамбурга, своего родного города, в Давос, в кантоне Граубюнден. Он ехал туда на три недели — погостить.

Из Гамбурга в Давос — путь не близкий, и даже очень не близкий, если едешь на столь короткий срок. Путь этот ведет через несколько самостоятельных земель, то вверх, то вниз. С южногерманского плоскогорья нужно спуститься на берег Швабского моря, потом плыть пароходом по его вздымающимся волнам, над безднами, которые долго считались неисследованными.

Однако затем путешествие, которое началось с большим размахом и шло по прямым линиям, становится прерывистым, с частыми остановками и всякими сложностями: в местечке Роршах, уже на швейцарской территории, снова садишься в поезд, но доезжаешь только до Ландкварта, маленькой альпийской станции, где опять надо пересаживаться. После довольно продолжительного ожидания в малопривлекательной ветреной местности вам наконец подадут вагоны узкоколейки, и только с той минуты, когда трогается маленький, но, видимо, чрезвычайно мощный паровозик, начинается захватывающая часть поездки, упорный и крутой подъем, которому словно конца нет, ибо станция Ландкварт находится на сравнительно небольшой высоте, но за ней подъем идет по рвущейся ввысь, дикой, скалистой дороге в суровые высокогорные области.

Ганс Касторп — так зовут молодого человека — с его ручным чемоданчиком из крокодиловой кожи, подарком дяди и воспитателя — консула Тинапеля, которого мы сразу же и назовем, — Ганс Касторп, с его портпледом и зимним пальто, мотающимся на крючке, был один в маленьком, обитом серым сукном купе; он сидел у окна, и так как воздух становился к вечеру все свежее, а молодой человек был баловнем семьи и неженкой, он поднял воротник широкого модного пальто из шелковистой ткани. Рядом с ним на диване лежала книжка в бумажной обложке — «Ocean steamships»¹, которую он в начале путешествия время от времени изучал; но теперь она лежала забытая, а паровоз, чье тяжелое хриплое дыхание врывалось в окно, осыпал его пальто угольной пылью.

Два дня пути уже успели отдалить этого человека, к тому же молодого, — а молодой еще не крепко сидит корнями в жизни, — от привычного мира, от всего, что он считал своими обязанностями, интересами, заботами, надеждами, — отдалить его гораздо больше, чем он, вероятно, мог себе представить, когда ехал в наемном экипаже на вокзал. Пространство, которое переваливалось с боку на бок между ним и родным домом, кружилось и убегало, таило в себе силы, обычно приписываемые времени; с каждым часом оно вызывало все новые внутренние изменения, чрезвычайно сходные с теми, что создает время, но в некотором роде более значительные. Подобно времени, пространство рождает забвение; оно достигает этого, освобождая человека от привычных связей с повседневностью, переносит его в некое первоначальное, вольное состояние, и даже педанта и обывателя способно вдруг превратить в бродягу. Говорят, что время — Лета; но и воздух дали — такой же напиток забвения, и пусть он действует менее основательно, зато — быстрее.

Нечто подобное испытывал и Ганс Касторп. Он вовсе не собирался придавать своей поездке особое значение, внутренне ожидать от нее чего-то. Напротив, он считал, что надо поскорее от нее отделаться, раз уж иначе нельзя,

¹ «Океанские пароходы» (англ.).

и, вернувшись совершенно таким же, каким уехал, продолжать обычную жизнь с того места, на котором он на мгновение прервал ее. Еще вчера он был поглощен привычным кругом мыслей — о только что отошедших в прошлое экзаменах, о предстоящем в ближайшем будущем поступлении практикантом к «Тундеру и Вильмсу» (судо-строительные верфи, машиностроительный завод, котельные мастерские) и желал одного — чтобы эти три недели прошли как можно скорее, — желал со всем нетерпением, на какое, при своей уравновешенной натуре, был способен. Но теперь ему начинало казаться, что обстоятельства требуют его полного внимания и что, пожалуй, не следует относиться к ним так уж легко. Это возношение в области, воздухом которых он еще никогда не дышал и где, как ему было известно, условия для жизни необычайно суровы и скудны, начинало его волновать, вызывая даже некоторый страх. Родина и привычный строй жизни остались не только далеко позади, главное — они лежали где-то глубоко внизу под ним, а он продолжал возноситься. И вот, паря между ними и неведомым, он спрашивал себя, что ждет его там, наверху. Может быть, это неразумно и даже повредит ему, если он, рожденный и привыкший дышать на высоте всего лишь нескольких метров над уровнем моря, сразу же поднимется в совершенно чуждые ему области, не пожив предварительно хоть несколько дней где-нибудь не так высоко? Ему уже хотелось поскорее добраться до места: ведь когда очутишься там, то начнешь жить, как живешь везде, и это карабканье вверх не будет каждую минуту напоминать тебе, в сколь необычные сферы ты затесался. Он выглянул в окно: поезд полз, извиваясь по узкой расщелине; были видны передние вагоны и паровоз, который, усиленно трудясь, то и дело выбрасывал клубы зеленого, бурого и черного дыма, и они потом таяли в воздухе. Справа, внизу, шумели воды; слева темные пихты, росшие между глыбами скал, тянулись к каменно-серому небу. Временами попадались черные туннели, и когда поезд опять выскакивал на свет, внизу распахивались огромные пропасти, в глубине которых лежали селения. Потом они снова скрывались, опять следовали теснины с остатками снега

в складках и щелях. Поезд останавливался перед убогими вокзальчиками и на конечных станциях, от которых отходил затем в противоположном направлении; тогда все путалось, и трудно было понять, в какую же сторону ты едешь и где какая страна света. Развертывались величественные высокогорные пейзажи с их священной фантазмагорией громоздящихся друг на друга вершин, и тебя несло к ним, между ними, они то открывались почтительному взору, то снова исчезали за поворотом. Ганс Касторп вспомнил, что область лиственных лесов уже осталась позади, а с нею, вероятно, и зона певчих птиц, и от мысли об этом замирании и оскудении жизни у него вдруг закружилась голова, и ему стало не по себе; он даже прикрыл глаза рукой. Но дурнота тут же прошла. Он увидел, что подъем окончен, — перевал был преодолен. И тем спокойнее поезд побежал по горной долине.

Было около восьми часов вечера, и сумерки еще не наступили. Вдали открылось озеро, его воды казались стальными, черные пихтовые леса поднимались по окружавшим его горным склонам; чем выше, тем заметнее леса редели, потом исчезали совсем, и глаз встречал только нагие, мглистые скалы.

Поезд остановился у маленькой станции, — это была Давос-деревня, — Ганс Касторп услышал, как на платформе выкрикнули название: он был почти у цели. И вдруг совсем рядом раздался голос его двоюродного брата Иоахима Цимсена, и этот неторопливый гамбургский голос проговорил:

— Ну здравствуй! Что же ты не выходишь? — И когда Ганс высунулся в окно, под окном, на перроне, оказался сам Иоахим, в коричневом демисезонном пальто, без шляпы, и вид у него был просто цветущий. Иоахим рассмеялся и повторил: — Вылезай, не стесняйся!

— Я же еще не доехал, — растерянно проговорил Ганс Касторп, не вставая.

— Нет, доехал. Это деревня. До санатория отсюда ближе. У меня тут экипаж. Давай-ка свои вещи.

Тогда, взволнованный приездом и свиданием, Ганс Касторп смущенно засмеялся и передал ему в окно чемодан,

зимнее пальто, портплед с зонтом и тростью и даже книгу «Ocean steamships». Затем пробежал по узкому коридору и прыгнул на платформу, чтобы, так сказать, самолично приветствовать двоюродного брата, причем поздоровались они без особой чувствительности, как и полагается людям сдержанным и благовоспитанным. Почему-то они всегда избегали называть друг друга по имени, боясь больше всего на свете выказать излишнее душевное тепло. Однако называть друг друга по фамилии было бы нелепо, и они ограничивались простым «ты». Это давно вошло у них в привычку.

Неподалеку стоял человек в ливрее и фуражке с галунами, наблюдая за тем, как они торопливо и несколько смущенно пожимают друг другу руку, причем молодой Цимсен держался совсем по-военному; затем человек этот подошел к ним и попросил у Ганса Касторпа его багажную квитанцию, — это был портье из интернационального санатория «Берггоф»; он сказал, что получит большой чемодан приезжего на станции «Курорт», а экипаж доставит господ прямо в санаторий, они как раз успеют к ужину. Портье сильно хромал, и первый вопрос, с каким Ганс Касторп обратился к двоюродному брату, был:

— Он что — ветеран войны? Почему он так хромает?

— Ну да! Ветеран войны! — с некоторой горечью отозвался Иоахим. — Это болезнь сидит у него в коленке, или, верней, сидела, ему потом вынули коленную чашку.

Ганс Касторп понял свою оплошность.

— Ах так! — поспешно сказал он, не останавливаясь, поднял голову и бросил вокруг себя беглый взгляд. — Ты же не станешь уверять меня, что у тебя еще не все прошло? Выглядишь ты, будто уже получил офицерский темляк и только что вернулся с маневров. — И он искоса посмотрел на двоюродного брата.

Иоахим был выше и шире в плечах, чем Ганс Касторп, и казался воплощением юношеской силы, прямо созданным для военного мундира. Молодой Цимсен принадлежал к тому типу темных шатенов, которые встречаются нередко на его белокурой родине, а и без того смуглое лицо стало от загара почти бронзовым. У него были большие черные

глаза, темные усики оттеняли полные, красиво очерченные губы, и он мог бы считаться красавцем, если бы не торчащие уши. До известного момента его жизни эти уши были его единственным горем и заботой. Теперь у него было достаточно других забот. Ганс Касторп продолжал:

— Ты ведь потом вместе со мной вернешься вниз? Не вижу, почему бы тебе не вернуться...

— Вместе с тобой? — удивился Иоахим и обратил к нему свои большие глаза, в которых и раньше была какая-то особая мягкость, а теперь, за минувшие пять месяцев, появилась усталость и даже печаль. — Когда это — вместе с тобой?

— Ну, через три недели?

— Ах так, ты мысленно уже возвращаешься домой, — заметил Иоахим. — Но ведь ты еще только приехал. Правда, три недели для нас здесь наверху — это почти ничто. Но ты-то явился в гости и пробудешь всего-навсего три недели, для тебя это очень большой срок! Попробуй тут акклиматизироваться, что совсем не так легко, должен тебе заметить. И потом — дело не только в климате: тебя ждет здесь немало нового, имей в виду. Что касается меня, то дело обстоит вовсе не так весело, как тебе кажется, и насчет того, чтобы «через три недели вернуться домой», это, знаешь ли, одна из ваших фантазий там, внизу. Я, правда, загорел, но загар мой главным образом снежный, и обольщаться им не приходится, как нам постоянно твердит Беренс; а когда было последнее общее обследование, то он заявил, что еще полгодика мне уж наверняка здесь придется просидеть.

— Полгода? Ты в своем уме? — воскликнул Ганс Касторп. Они вышли из здания станции, вернее — просто сарая, и уселись в желтый кабриолет, ожидавший их на каменистой площадке; когда гневные тронули, Ганс Касторп возмущенно задвигался на жестких подушках сиденья. — Полгода? Ты и так здесь уже почти полгода! Разве можно терять столько времени!..

— Да, время, — задумчиво проговорил Иоахим; он несколько раз кивнул, глядя перед собой и словно не замечая искреннего возмущения двоюродного брата. — До чего тут бесцеремонно обращаются с человеческим временем —

просто диву даешься. Три недели для них — все равно что один день. Да ты сам увидишь. Ты все это еще сам узнаешь... — И добавил: — Поэтому на многое начинаешь смотреть совсем иначе.

Ганс Касторп незаметно продолжал наблюдать за ним.

— Но ведь ты все-таки замечательно поправился, — возразил он, качнув головой.

— Разве? Впрочем, я ведь тоже так считаю, — согласился Иоахим и, выпрямившись, откинулся на спинку сиденья; однако опять сполз и сел боком. — Конечно, мне лучше, — продолжал он, — но окончательно я еще не выздоровел. В верхней части левого легкого, где раньше были хрипы, теперь только жесткое дыхание, это не так уж плохо, но внизу дыхание еще очень жесткое, есть сухие хрипы и во втором межреберном пространстве.

— Какой ты стал ученый, — заметил Ганс Касторп.

— Нечего сказать, приятная ученость! Как мне хотелось бы вместо санатория очутиться в армии и вытряхнуть всю эту ученость из головы, — ответил Иоахим. — А потом у меня все еще появляется мокрота. — Он небрежно и раздраженно передернул плечами — новый для него жест, который ему не шел, — затем из бокового кармана вытащил до половины некий предмет, показал кузену и тут же спрятал; это была плоская, слегка изогнутая фляжка синего стекла с металлической крышечкой. — Такие штуки носит с собой большинство из нас здесь наверху, — пояснил он. — И прозвище ей дали весьма остроумное. А на пейзаж ты обратил внимание?

Ганс Касторп и так смотрел во все глаза.

— Замечательно, — сказал он.

— В самом деле? — спросил Иоахим.

Оставив за собой неравномерно застроенную длинную улицу, которая тянулась вдоль узкоколейки, они свернули влево, переехали через полотно железной дороги, через мост над потоком, и экипаж стал подниматься в гору по отлогому шоссе, навстречу лесистым склонам. Там, на поросшей травой площадке, немного выше курорта, стояло длинное здание, обращенное фасадом на юго-запад, с увенчанной куполом башенкой и множеством балкончиков,

благодаря чему оно издали напоминало пористую губку со множеством ячеек; в этом здании уже вспыхивали вечерние огни. Быстро надвигались сумерки. Легкое сияние зари, ненадолго оживившее затянутое тучами небо, уже угасло, и природа погрузилась в то переходное состояние — тусклое, мертвенное и печальное, — которое предшествует окончательному наступлению ночи.

Длинная, слегка изгибающаяся между гор долина с ее селениями теперь тоже повсюду осветилась, и не только она: местами загорелись огни и на обоих ее склонах — на правом, крутом, где террасами поднимались строения, и на левом, покрытом лугами, по которому разбегались тропинки, терявшиеся в плотной черноте хвойных лесов. Далекие кулисы гор там, где долина сужалась, были окрашены в синевато-серый цвет. Поднялся ветер, вечерний холодок давал себя знать.

— Нет, говоря по правде, я не нахожу все это уж таким потрясающим, — заметил Ганс Касторп. — А где же у вас тут глетчеры, фирны, мощные горные гиганты? Эти вершинки вон там, по-моему, не бог весть как высоки.

— Нет, они высокие, — возразил Иоахим. — Видишь, где проходит граница лесов? Она почти всюду очень отчетлива, там кончаются ели, а с ними кончается все, и уже ничего нет, только скалы, как ты, вероятно, заметил. Видишь, справа от Шварцхорна — высокий зубец? Там есть даже глетчер! Вон то, синее... Он невелик, но это настоящий глетчер, все как полагается, глетчер Скалетта. А там — Пиц Мишель и Тинценхорн, отсюда их не видно, они всегда покрыты снегом, круглый год.

— Вечным снегом, — проговорил Ганс Касторп.

— Да, если хочешь, вечным. Все эти горы, конечно, очень высоки. Но ты подумай, ведь мы сами находимся отчаянно высоко. Тысяча шестьсот метров над уровнем моря. Поэтому мы их высоты и не замечаем.

— Да, ну и лезли же мы сегодня вверх! Признаюсь, меня прямо жуть брала! Тысяча шестьсот метров! Это приблизительно пять тысяч футов, если не ошибаюсь. В жизни своей не был на такой высоте. — И Ганс Касторп с любопытством глубоко вдохнул в себя чуждый ему воздух. Он был свеж —

и только. В нем не хватало ароматов, содержания, влаги, он легко входил в легкие и ничего не говорил душе.

— Превосходно! — заметил он из вежливости.

— Да, воздух тут знаменитый. Впрочем, местность показывает себя сегодня вечером не с лучшей стороны. Иногда все видно гораздо яснее, особенно при снеге. Но в конце концов эти пейзажи быстро надоедают. Нам всем здесь наверху они ужасно надоели, можешь мне поверить, — закончил Иоахим, и его губы скривились гримасой отвращения. У Ганса Касторпа невольно возникло чувство, что Цимсен преувеличивает, не владеет своим раздражением, — что было опять-таки на него не похоже.

— Как странно ты говоришь, — заметил Ганс Касторп.

— Разве я говорю странно? — спросил Иоахим с некоторой тревогой и повернулся к двоюродному брату...

— Нет, нет, прости, это только так, минутное впечатление! — поспешил заверить его Ганс Касторп. Он имел в виду выражение Иоахима «нам здесь наверху», ибо тот употребил его уже два или три раза; оно-то и казалось Гансу Касторпу странным, чем-то пугало и вместе с тем манило.

— Как видишь, наш санаторий расположен выше курорта, — продолжал Иоахим. — На пятьдесят метров. В проспекте сказано сто, но на самом деле всего на пятьдесят. Выше всех стоит санаторий «Шацальп», — в той стороне, отсюда не видно. Зимой им приходится спускать свои трупы на бобслеях, так как дороги становятся непроходимыми.

— Свои трупы? Ах да! Но послушай, — воскликнул было Ганс Касторп. И вдруг им овладел смех, бурный, неуправляемый смех; этот смех так потряс его грудную клетку, что несколько одеревеневшее от резкого ветра лицо молодого человека даже скривилось болезненной гримасой. — На бобслеях! И ты об этом рассказываешь совершенно спокойно? Ну, знаешь, за эти пять месяцев ты стал прямо циником!

— И вовсе не циником, — возразил Иоахим, пожав плечами. — Почему? Ведь трупам все равно... Впрочем, может быть, здесь у нас и становятся циниками. Сам Беренс — настоящий старый циник, а кроме того, чудесный мальчик,